

**flipbook**



# Кен Кизи



Над кукушкиным гнездом



ЭКМО  
МОСКВА  
2013

УДК 82(1-87)  
ББК 84(7США)  
К 38

Ken Kesey  
ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST

Copyright © Ken Kesey, 1962.

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part  
in any form. This edition published by arrangement with Viking,  
a member of Penguin Group (USA) Inc.

Перевод с английского *В. Гольшева*

Разработка серийного оформления *С. Груздева*

**Кизи К.**

К 38            Над кукушкиным гнездом / Кен Кизи ; [пер. с англ.  
В.П. Голышева]. — М. : Эксмо, 2013. — 504 с. — (Флипбук).

ISBN 978-5-699-57987-7

**УДК 82(1-87)**

**ББК 84(7США)**

© Голышев В., перевод на русский язык, 2012

© Издание на русском языке, оформление.

000 «Издательство «Эксмо», 2013

**ISBN 978-5-699-57987-7**

*Вику Ловеллу,  
который сказал мне,  
что драконов не бывает,  
а потом привел в их логово.*

*...Кто из дому, кто в дом,  
кто над кукушкиным гнездом.*

*Считалка*

## ЧАСТЬ I

Они там.

Черные в белых костюмах, встали раньше меня, справят половую нужду в коридоре и подотрут, пока я их не накрыл.

Подтирают, когда я выхожу из спальни: трое, угрюмы, злы на все — на утро, на этот дом, на тех, при ком работают. Когда злы, на глаза им не попадайся. Пробираюсь по стеночке в парусиновых туфлях, тихо, как мышь, но их специальная аппаратура засекает мой страх:

поднимают головы, все трое разом, глаза горят на черных лицах, как лампы в старом приемнике.

— Вон он, вождь. Главный вождь, ребята. Вождь Швабра. Поди-ка, вождек.

Суют мне тряпку, показывают, где сегодня мыть, и я иду. Один огрел меня сзади по ногам щеткой: шевелись.

— Вишь, забегал. Такой длинный, яблоко у меня с головы зубами может взять, а слушается, как ребенок.

Смеются, потом слышу, шепчутся у меня за спиной, головы составили. Гудят черные машины, гудят ненавистью, смертью, другими больничными секретами. Когда я рядом, все равно не побеспокоятся говорить потише о своих злых секретах — думают, я глухонемой. И все так думают. Хоть тут хватило хитрости их обмануть. Если чем помогала мне в этой грязной жизни половина индейской крови, то помогала быть хитрым, все годы помогала.

Мою пол перед дверью отделения, снаружи вставляют ключ, и я понимаю, что это старшая сестра: мягко, быстро, послушно поддается ключу замок; давно она орудует этими ключами. С волной холодного воздуха она проскальзывает в коридор, запирает за собой, и я вижу,

как проезжают напоследок ее пальцы по шлифованной стали — ногти того же цвета, что губы. Оранжевые прямо. Как жало паяльника. Горячий цвет или холодный, даже не поймешь, когда они тебя трогают.

У нее плетеная сумка вроде тех, какими торгует у горячего августовского шоссе племя ампква, — формой похожа на ящик для инструментов, с пеньковой ручкой. Сколько лет я здесь, столько у нее эта сумка. Плетение редкое, я вижу, что внутри: ни помады, ни пудреницы, никакого женского барахла, только колесики, шестерни, зубчатки, отполированные до блеска, крохотные пилюли белеют, будто фарфоровые, иголки, пинцеты, часовые щипчики, мотки медной проволоки.

Проходит мимо меня, кивает. Я утаскиваюсь следом за шваброй к стене, улыбаюсь и, чтобы понадежней обмануть ее аппаратуру, прячу глаза — когда глаза закрыты, в тебе труднее разобраться.

В потемках она идет мимо меня, слышу, как стучат ее резиновые каблучки по плитке и брякает в сумке добро при каждом шаге. Шагает деревянно. Когда открываю глаза, она уже в глубине коридора заворачивает в стеклянный сестринский пост — просидит там весь день за столом, восемь часов будет глядеть через окно и записывать, что творится в дневной палате. Лицо у нее спокойное и довольное перед этим делом.



И вдруг... Она заметила черных санитаров. Они все еще рядышком, шепчутся. Не слышали, как она вошла в отделение. Теперь почувствовали ее злой взгляд, но поздно. Хватило ума собраться и лясы точить перед самым ее приходом. Их лица отскакивают в разные стороны, смущенные. Она, пригнувшись, двинула на них — они попались в конце коридора. Она знает, про что они толковали, и, видно, себя не помнит от ярости. В клочья разорвет черных паразитов, до того разъярилась. Она раздувается, раздувается — белая форма вот-вот лопнет на спине — и выдвигает руки так, что может обхватить всю троицу раз пять-шесть. Оглядывается, крутанув громадной головой. Никого не видеть, только вечный Швабра Бромден, индеец-полукровка, прячется за своей шваброй и не может позвать на помощь, потому что немой. И она дает себе волю: накрашенная улыбка искривилась, превратилась в оскал, а сама она раздувается все больше, больше, она уже размером с трактор, такая большая, что слышу запах механизмов у нее внутри — вроде того, как пахнет мотор при перегрузке. Затаив дыхание, думаю: ну все, на этот раз они не остановятся. На этот раз они нагонят ненависть до такого напряжения, что опомниться не успеют — разорвут друг друга в клочья!

Но только она начала сгребать этими раздвижными руками черных санитаров, а они потрошить ей брюхо ручками швабр, как из спален выходят больные посмотреть, что там за базар, и она принимает прежний вид, чтобы не увидели ее в натуральном жутком обличье. Пока больные протерли глаза, пока кое-как разглядели спросонок, из-за чего шум, перед ними опять всего лишь старшая сестра, как всегда спокойная, сдержанная, и с улыбкой говорит санитарам, что не стоит собираться кучкой и болтать, ведь сегодня понедельник, первое утро рабочей недели, столько дел...

— ...понимаете, понедельник, утро...

— Да, мисс Гнусен...

— ...а у нас столько назначений на это утро... так что если у вас нет особой надобности стоять здесь вместе и беседовать...

— Да, мисс Гнусен...

Замолкла, кивнула больным, которые собрались вокруг и смотрят красными, опухшими со сна глазами. Кивнула каждому в отдельности. Четким, автоматическим движением. Лицо у нее гладкое, выверенное, точной выработки, как у дорогой куклы, — кожа будто эмаль телесного цвета, бело-кремовая, ясные голубые глаза, короткий носик с малень-

кими розовыми ноздрями, все в лад, кроме цвета губ и ногтей да еще размера груди. Где-то ошиблись при сборке, поставили такие большие женские груди на совершенное во всем остальном устройство, и видно, как она этим огорчена.

Больные еще стоят, хотят узнать, из-за чего она напала на санитаров; тогда она вспоминает, что видела меня, и говорит:

— Поскольку сегодня понедельник, давайте-ка для разгона раньше всего побреем бедного мистера Бромдена и тем, может быть, избежим обычных... э-э... беспорядков — ведь после завтрака в комнате для бритья у нас будет столпотворение.

Пока они оборачиваются ко мне, я ныряю обратно в чулан для тряпок, захлопываю дочерна дверь, перестаю дышать. Хуже нет, когда тебя бреют до завтрака. Если успел пожевать, ты не такой слабый и не такой сонный, и этим гадам, которые работают в Комбинате, сложно подобраться к тебе с какой-нибудь из своих машинок. Но если до завтрака бреют — а она такое устраивала, — в половине седьмого, в комнате с белыми стенами и белыми раковинами, с длинными люминесцентными трубками в потолке, чтобы теней не было, и лица всюду вокруг тебя кричат, запертые за зеркалами, — что ты тогда можешь против ихней машинки?

Схоронился в чулане для тряпок, слушаю, сердце стучит в темноте, и стараюсь не испугаться, стараюсь отогнать мысли подальше отсюда, подумать и вспомнить что-нибудь про наш поселок и большую реку Колумбию, вспоминаю, как в тот раз, ох, мы с папой охотились на птиц в кедровнике под Даллзом... Но всякий раз, когда стараюсь загнать мысли в прошлое, укрыться там, близкий страх все равно просачивается сквозь воспоминания. Чувствую, что идет по коридору маленький черный санитар, приносиваясь к моему страху. Он раздувает ноздри черными воронками, вертит большой башкой туда и сюда, нюхает, вытягивает страх со всего отделения. Почуял меня, слышу его сопение. Не знает, где я спрятался, но чует, нюхом ищет. Замираю...

(Папа говорит мне: замри; говорит, что собака почуяла птицу, где-то рядом. Мы одолжили пойнтера у одного человека в Даллз-Сити. Наши поселковые псы — бесполезные дворняги, говорит папа, рыбью требуху едят, низкий класс; а у этой собаки — у ней *инстинкт!* Я ничего не говорю, но уже вижу в кедровом подросте птицу — съежилась серым комком перьев. Собака бежит внизу кругами — запах повсюду, не понять уже откуда. Птица замерла, и куда так, ей ничего не грозит. Она держится стойко, но собака кружит и нюхает, все громче

и ближе. И вот птица поднялась, расправив перья, и вылетает из кедра прямо на папину дробь.)

Не успел я отбежать и на десять шагов, как маленький санитар и один из больших ловят меня и волокут в комнату для бритья. Я не шумлю, не сопротивляюсь. Закричишь — тебе же хуже. Сдерживаю крик. Сдерживаю, пока они не добираются до висков. До сих пор я не знал, может, это и вправду бритва, а не какая-нибудь из их подменных машинок, но, когда они добрались до висков, уже не могу сдержаться. Какая тут воля, когда добрались до висков. Тут... кнопку нажали: воздушная тревога! Воздушная тревога! — и включает она меня на такую громкость, что звука уже будто нет, все орут на меня из-за стеклянной стены, заткнув уши, лица в говорильной круговерти, но изо ртов ни звука. Мой шум впитывает все шумы. Опять включают туманную машину, и она снежит на меня холодным и белым, как снятое молоко, так густо, что мог бы в нем спрятаться, если бы меня не держали. В тумане не вижу на десять сантиметров и сквозь вой слышу только старшую сестру, как она с гиканьем ломит по коридору, сшибая с дороги больных плетеной сумкой. Слышу ее поступь, но крик оборвать не могу. Кричу, пока она не подошла. Двое держат меня,

а она вбила мне в рот плетеную сумку со всем добром и пропихивает глубже ручкой швабры.

(Гончая лает в тумане, она заблудилась и мечется в испуге, оттого что не видит. На земле никаких следов, кроме ее собственных, она водит красным резиновым носом, но запахов тоже никаких, пахнет только ее страхом, который ошпаривает ей нутро, как пар.) И меня ошпарит так же, и я расскажу наконец обо всем — о больнице, о ней, о здешних людях... И о Макмерфи. Я так давно молчу, что меня прорвет, как плотину в паводок, и вы подумаете, что человек, рассказывающий такое, несет ахинею, подумаете, что такой жути в жизни не случается, такие ужасы не могут быть правдой. Но прошу вас. Мне еще трудно собраться с мыслями, когда я об этом думаю. Но все — правда, даже если этого не случилось.

Когда туман расходится и я начинаю видеть, я сижу в дневной комнате. На этот раз меня не отвели в Шоковый шалман. Помню, как меня вытащили из брильни и заперли в изолятор. Не помню, дали завтрак или нет. Наверно, нет. Могу припомнить такие утра в изоляторе, когда санитары таскали объедки завтрака — будто бы для меня, а ели сами — они завтракают, а я лежу на сопревшем матрасе и смотрю,

как подтирают яйцо на тарелке поджаренным хлебом. Пахнет салом, хрустит у них в зубах хлеб. А другой раз принесут холодную кашу и заставляют есть, без соли даже.

Нынешнего утра совсем не помню. Насовали в меня столько этих штук, которые они называют таблетками, что ничего не соображал, пока не услышал, как открылась дверь в отделение. Дверь открылась — значит, время восемь или девятый, значит, провалялся без памяти в изоляторе часа полтора, техники могли прийти и установить что угодно по приказу старшей сестры, и я даже не узнаю что!

Слышу шум у входной двери, в начале коридора, отсюда не видно. Эту дверь начинают открывать в восемь, открывают-закрывают по сто раз на дню, тыт-тыр, щелк. Каждое утро после завтрака мы рассаживаемся вдоль двух стен в дневной комнате, складываем картинки-головоломки, слушаем, не щелкнет ли замок, ждем, что там появится. Больше-то и делать особенно нечего. Иногда один из молодых врачей, живущих при больнице, приходит пораньше посмотреть на нас до приема лекарств — ДПЛ у них называется. Иногда жена кого-нибудь навещает, на высоких каблуках, сумочку притиснув к животу. Иногда этот дурачок по связям с общественностью приводит учительниц на-